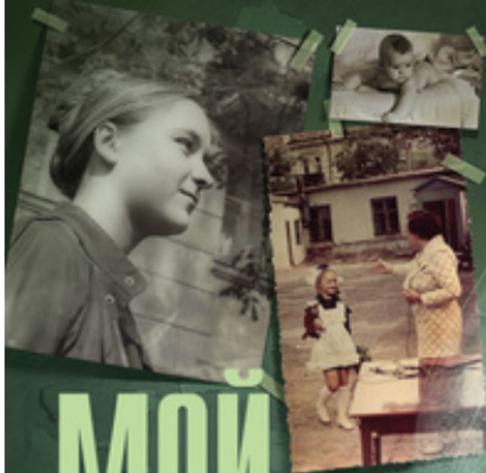


**ТАТЬЯНА
СОЛОМАТИНА**



МОЙ ОДЕССКИЙ ЯЗЫК



Татьяна Юрьевна Соломатина

Мой одесский язык

Текст предоставлен правообладателем.

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=600695

Соломатина Т. Мой одесский язык: Эксмо; Москва; 2011

ISBN 978-5-9955-0220-3

Аннотация

– Слушай, смотри, что они пишут в этих газетах! Какие бородатости!

– Так слушать или смотреть?

– Так слушай! «Леонид Утёсов говорил, что все хотели бы родиться в Одессе, но не всем это удалось. Татьяне Соломатиной повезло – ей удалось родиться в Одессе. А как говорил другой великий одессит, Исаак Бабель (если верить тоже непростому человеку – Константину Паустовскому), у нас в Одессе будут свои Мопассаны...»

– И что? Кому-то повезло родиться, кому-то повезло стать. Тебе повезло и родиться и стать. Тебе повезло на полное право писать об Одессе. Упустить везение на полное право после всего того, на что уже повезло, – будет не по-одесски.

Содержание

На правах предисловия	4
Дороги, которые не мы выбираем	30
Позитив не роскошь, а средство передвижения!	37
«Процент писателей из врачей не так уж и велик...» (Это подзаголовок, чтобы вы понимали...)	51
«Нет секрета успеха – есть успех» (Вы уже понимаете, что это подзаголовок?)	55
«Я пишу просто байки»	60
«Я беспощадна по-мужски»	64
«Одесский роман»	65
Зелёный Пыр-Пыр	70
Конец ознакомительного фрагмента.	75

Татьяна Соломатина

Мой одесский язык

Книжному магазину «Москва» на Тверской

На правах предисловия

В рамках программы «Литературные столицы мира» в книжном магазине «Москва» был запланирован «Урок одесского языка». С викторинами, говорящими писателями и розыгрышем ужина в рыбном ресторане. Рыбный ресторан в Москве – это само по себе да, не правда ли? Как, впрочем, и книга «Мой одесский язык», посвящённая книжному магазину «Москва». Но жизнь вообще насквозь прошита несоответствиями, нелепицами и прочими казусами. Вернее, нам кажется, что жизнь прошита казусами, а на самом деле вся наша жизнь и есть казус. И если я сейчас продолжу в том же духе, то никогда не перейду к следующему абзацу, а значит, не закончу предисловие и не примусь за собственно книгу. И это будет вполне по-одесски. Потому что пресловутый одесский лаконизм:

А, погода! – Плохая погода.

А, как вам это нравится? – Сплошное непотребство.

А, Бортник! – *Нехороший человек по фамилии Бортник*¹...

...родился из одесского же многословья. Так много всего надо успеть сказать о той же погоде, о том же сплошном непотребстве и о том же нехорошем человеке по фамилии Бортник, что в устной речи волей-неволей приходится быть интонационно-афористичным. Другое дело – бумага. Все те одесситы, что стали известными московскими писателями, были просто-напросто вынуждены ими стать. Их, понимаете ли, никто не слушал! Вы когда-нибудь сидели за накрытым в тени винограда столом где-то под Жеваховой горой? А я – да. Меня никто не слушал. И я стала писателем. Теперь они читают мои книги. Но меня по-прежнему никто не слушает за накрытым в тени винограда столом где-то под Жеваховой горой. Они так шумно мною гордятся, меня хвалят, меня же осуждают (тут же – невзирая на моё присутствие) и вообще – страшно сплетничают, перебивая друг друга, что мне только и остаётся, что писать книги.

– Ну, Танька-то да? – *Соломатина – матёрый человечеще.*

– Помните, вечно мы ей рот заткнуть не могли! – *Она сегодня так прекрасно говорила со стула на Дерибасовской! Мы очень гордились!*

¹ Из книги Валерия Смирнова «Таки да большой полутолковый словарь одесского языка».

– Ой, как мне приятно её видеть сейчас, она стала такая красивая! – *Слава богу, что она так растолстела, и я больше могу не беспокоиться за Павлика. Он вечно пялился на её тощие коленки!*²

Так что в Одессе кто потактичнее и послабее в застольной риторике – тот и писатель. Кто совсем уж скромн и немногословен, тот в Одессе – известный московский писатель. Поэтому пусть вас не удивляет ни посвящение, ни всё прочее, что делает Одессу и Москву не просто кровными сёстрами, но любящими, нежными, хотя и страшно склочными ближайшими родственницами-подружками.

Да! Так продолжим то, с чего начали. С книжного магазина «Москва» и «Урока одесского языка».

Получив приглашение принять участие в акции, я смутилась. Очень смутилась. Вспомнив «одесскую плеяду», «южнорусскую школу», улицу Пушкинскую в Центре, ахматовскую скамейку на Фонтане, бунинские «Окаянные дни», маяковское почти лирическое «Облако в штанах» (не очень тактично поминать Бунина и Маяковского рядом, ну да их проблемы уже иные) и, в конце концов, Михал Михалыча Жванецкого, покраснела – и все мысли выветрились из головы. Крутилось только ильфо-петровское «Гомер, Мильтон

² Из личных записных книжек Татьяны Соломатиной, нашедшей способ борьбы с тем, что она никогда не успевает вставить ни слова в застольные одесские беседы.

и Паниковский». Я-то там, в «Москве», на «Уроке одесского языка» по какому такому праву? Лишь по факту того, что у меня в паспорте гражданки Российской Федерации в графе «Место рождения» написано «ГОР. ОДЕССА»? Или же потому, что любая моя книга, поступающая в продажу в книжный магазин «Москва», медленно, но уверенно каждый раз оказывается в топ-20, а то и в топ-10 продаж русской прозы, а «Приёмный покой» даже целых четыре часа был книгой месяца, после чего руководство магазина резко сменило политику на правильную и духовную – не зависящую от читательского спроса (одобряю, кстати!)?

Спустя час паники подступила эйфория гордыни. Я почувствовала себя like a rain in the ass (что в переводе с одесского на московский означает – «как вилка в жопе», – то есть очень крутой и сильной). Меня! Живую, никому не известную (до степени живущего Жванецкого) вполне уже известную российскую писательницу, родившуюся в Одессе, пригласил самый независимый книжный магазин Москвы, чтобы я провела не что-нибудь там, не какую-то жалкую презентацию собственной книги, а целый урок одесского языка!

Я собрала с книжных полок Бабеля и Врубеля (который Михаил Александрович и «Демон». Он, между прочим, окончил Ришельевскую классическую гимназию в Одессе, хотя и родился в Омске. Много кто из «одесской плеяды» в Одессе не родился, так что и Врубеля схватила, хотя он и художник-символист), Олешу и Катаева, Ильфа и Петрова,

Багрицкого и Паустовского, Ратушинскую и Жаботинского (до кучи – Пушкина, Тэффи и Аверченко), уложила на столе живописную пёструю кладку, сверху придавила тома великих своей скромной «Большой собакой» – и стала гордиться.

Погордившись, я схватилась за перечитывание мэтров и мэтресс с остро отточенным карандашиком, обложилась блокнотами и раскрыла чистый лист Word'a...

Через неделю пухлый «доклад на тему» «Урок одесского языка» был готов. В кабинете моём царил творческий бардак, а в нечёсаной голове носился хитрый маленький лис: «Ты это на полном серьёзе?» То есть – перевожу с одесского, хотя кому это сейчас надо, если всем и так всё понятно: «Ты всё это написала вполне серьёзно? Лавры литературоведов покоя не дают? В филологи метишь? В исследователи? В яростные борцы с «жарой» и «холодом», в апологеты «пекла» и «зусмана»?»

Я тебе на полном серьёзе говорю: это же такой шмок, что он залетел в дурдом безо всякого блат, и не когда-нибудь, а во время призыва в армию. Сам знаешь, в это время у них койки на вес золота³.

В дурдом не хотелось даже по блату, потому что в армию

³ Из всё того же «Таки да большой полутолковый словарь одесского языка» Валерия Смирнова. Впрочем, выражение «на полном серьёзе» уже давно не нуждается в переводе и из одесского стало вполне себе общерусским.

мне не надо. Мне надо не опозориться в магазине «Москва» с «Уроком одесского языка». Я же понимаю, что не владею микрофоном (пока), как Жванецкий, чтобы да. Я – Соломатина, и потому мне может быть вполне фиаско. И напихают мне слушатели полный рот презрения:

– А, Соломатина! – *Нехороший человек по фамилии Соломатина.*

Уже так и виделась снисходительные ухмылки профуканных мною потенциальных читателей. А тут ещё в почту сыпались «дельные» советы от маркетинговых и пиар-отделов, мол, прочитайте Власа Дорошевича. Да я Власа Дорошевича читала уже тогда, когда эти маркетологи с пиарщиками комбинации из трёх пальцев (в одесском языке – дуля, в русском – кукиш или фига, хотя где сейчас дуля не дуля?) своим родителям из колыбельки показывали. И уже тогда он был артефактом с бородой по калоши.

Буйну голову повесив, я тщательно измельчила свой «доклад» и спалила его в камине. И пошла грустить на веранду. Спустя час грусти передо мной лежал следующий рукописный текст:

МОЙ ОДЕССКИЙ ЯЗЫК

Мой одесский язык.

Это – язык акаций Амбулаторного переулка. Пламя тюльпанов, дух пионов, вечный песок в сандалиях и коленки в зелёнке. Чьи-то дети гуляют в садиках, а я гуляю на пляже. Я не знаю о детях в садиках, мне кажется, что все дети гуляют на пляже. Вы гуляете *по* пляжу? В моём детском языке я гуляю *на* пляже.

Шестнадцатая – не номер, а имя собственное.

В моём море есть рыба-игла, опасная рыба-петух и морской конёк. Потом их нет, сейчас снова есть, но все мои остались в начале семидесятых двадцатого, в море на пляже Шестнадцатой. Я беру мидию. Все пальцы в мелких выбеленных порезах. Я расту в морской воде. За меня никто не боится. Я научилась плавать раньше, чем ходить и говорить.

«Ваша девочка слишком много время проводит в воде. Шо?.. Я говорю вам, ваша девочка слишком много время проводит в холодной воде! Шо?! Выньте ребёнка из воды, говорю вам! Нет, ну шо такое, а? Юра, я скажу вашей жене, куда вы смотрите вместо ребёнка, и вы больше никогда не будете видеть!»

На моей Шестнадцатой все друг друга знают. Я принесла домой корнерота в огромном пакете с морской водой и выпустила его в аквариум с маленькими пресноводными рыбками.

«Вот точно так же к Заруцким када-то приехал Нико-

лай Иванович немного погостить, а они умерли все в том году. Тоже был неудачный опыт, а вы ребёнка ругаете!» – режюмирует сосед.

Я долго плачу, потому что мне жалко корнерота и рыбок, а Заруцких не жалко, потому что не мой неудачный опыт.

Шестнадцатая, и розовый куст, и виноград «Лидия», невкусный, сопливый, но дед из него делает вино. Огромные десятилитровые бутылки, сверху по пробке обмазанные пластилином. На нём хорошо остаются отпечатки пальцев, если надавить. Я подрастаю, и в моём бездумном акациевом солёном языке появляется акцент цветущих свечек.

Мой одесский язык – это язык каштанов за окнами. Проспект Мира, 34, угол Чкалова. Центр Шестнадцатой Вселенной сменяется центром города.

«Таня, какие кактусы? Они здесь не выживут. Кактус любит пустыню. Но не потому, что нет воды, а потому что солнце. И хотя у нас в очередной раз нет воды не только после двенадцати ночи, а в очередной раз всегда, но у нас никогда нет солнца из-за этих каштанов. Скажи спасибо папе. Он – гуманист. Он не может поливать живое солярккой, как все. Он даже права не смог получить, хотя дедушка купил нам машину. Теперь дедушка ездит на нашей машине, потому что твой папа пугливый гуманист! Так что можешь посадить бегонию, она может жить в темноте, как твой папа».

Налево из подъезда я хожу в сто восемнадцатую «привозную» школу. Из нашего адреса – проспект Мира угол Чкалова – можно сразу выйти на Воровского. У нас тройной проходной двор.

«Детка, как жаль, шо ты не еврейка! Такая чудесная девочка – и не еврейка! Отличница, красавица и не еврейка! Ты бы могла выйти замуж за нашего внука, када вырастешь, но даже када ты вырастешь – ты не будешь еврейка! Это так нехорошо... Еврей может спать с русской, но он не может жениться на русской... Сёма, шо ты меня одёргиваешь, ради бога?! Она уже взрослая, у неё уже пионерский галстук! Такая хорошая девочка, умница, жаль, шо не еврейка, вы с Эдиком такая прекрасная пара, как жаль!»

Мой одесский язык – это язык широкого мраморного подоконника, прохладного в самую липкую жару. Ранним утром быстро-быстро по Долгой, но уже не по улице, а просто по долгой улице Чкалова. Карла Маркса, Ленина, Пушкинская, туберкулезная улица Белинского, венерический переулок Веры Инбер, бесконечная лестница – и ты уже на Ланжероне. Тут белые шары, вернее, они – там, а ты купаешься тут, потому что тут в море есть заветный камень. Летним днём о нём знают все. Ранним осенним утром – только ты.

Вверх бесконечнее, чем вниз. Но ты же не будешь ныть, как Эдик? Эдик с бабушкой, а ты один на один с лестни-

цей, извилисто ведущей на бесконечный верх. Низ наступает быстро, верху нет предела, только пот, потому что быстрее и быстрее, остановишься – всё! – будешь ныть в бетонные ступени.

Награда – холодный мраморный подоконник. Мрамор не так равнодушен, как бетон. С ним можно говорить. Кулёк «Театральных», «Тридцатилетняя женщина» Бальзака в синем. Моя русская мама, получившая хорошее образование, воспитанная на правильной русской речи, даже не замечает, *как* она говорит, надышавшись за много лет этим Городом. Для неё это уже естественно, выверено, как атмосфера Земли естественна для гомеостаза млекопитающих. Вас в Москве отправляли гулять? Меня в Одессе отправляли «дышать воздухом», и не подумайте, что в квартире мы ходили в скафандрах из-за повышенной концентрации сернистых газов, доставленных нам в баллонах с Венеры.

«Не грызи, испортишь зубы. Не порть глаза, иди на улицу дышать воздухом!»

Покорно плетёшься на улицу дышать городской пылью. Твой лучший друг – театральная тумба, обклеенная афишами. Когда-то там обязательно будет твоя фамилия. Та, которая будет твоей.

Но пока у тебя нет той фамилии, что будет на афишах. Зато у тебя есть Твой Крест. Огромный крест в кроссовках, шерстяной юбке, кружевном жабо и с вечной авоськой. В авоське у Твоего Креста творог и ноты. За творогом Твой

Крест ходит на Привоз, а ноты Твой Крест носит с собой всегда. Ты живёшь на пути пешего хода Твоего Креста с Привоза к себе домой. Но Твой Крест никогда не идет к *себе* домой, пока не зайдёт к *тебе* домой. Имя Твоему Кресту – Каверзнева Надежда Викторовна. Ей мало истязать тебя три дня в неделю в ДМШ № 2, она ходит к тебе ещё и все остальные четыре. У Твоего Креста нет мужа, нет детей, нет внуков. Есть сестра в Москве и ты, маленький мученик с поцарапанным «Театральными» языком.

«Девочка совершенно бездарна. Совершенно. У неё не гнутся небеглые пальцы, и она не имеет никаких музыкальных способностей. Но я сделаю из неё музыканта. Девочка поразительно бездарна. Девочка гениально читает с листа. Вы знаете, как ваша дочь читает с листа? Я никогда не поставлю ей большие тройки, я пошла к учителю сольфеджио и приказала её пятерку исправить на тройку. То, что она в третьем классе пишет диктанты для второго курса композиции, ничего не значит, потому что у неё совершенно нет слуха. Она просто всё запоминает. Она помнит звук... Как ты сидишь? Пока я говорю, или твоя мама говорит, или пока не закончится похоронная процессия папы римского, ты сидишь так, как я тебя учила, или сразу вставай и ложись, потому что если ты не сидишь так, как я тебя учила, нечего и начинать! Всем наплевать на твои желания, никому не наплевать на твою породу. Девочка, ты абсолютно бездарна, но у тебя есть порода. Ты будешь тем, кем захочешь,

если будешь сидеть так, как я учила, и столько, сколько я скажу! Музыка тут совершенно ни при чём. Но я сделаю из тебя музыканта! И если ты думаешь, что музыкант – это тот, чья фамилия на афише, – ты ещё глупее, чем кажешься. Но твоя фамилия будет на афише. Так или иначе!»

Мой одесский язык – это мерный язык чёрного гробика, поставленного на попá. Если вам плохо – запустите в тишину метроном. Когда у него кончится завод – кончится ваше плохо. Что начнётся после – ваш крест.

Прямо из подъезда я хожу к подруге. Проспект Мира, 37. Я не должна дружить с этой девочкой. Так говорит моей маме завуч по воспитательной работе моей школы. Ещё завуч по воспитательной работе говорит: *«Не будем говорить кто, но это была Суханова!»* Моя мама сама завуч. Школы-интерната номер семь на Девятой Станции Фонтана. Я дружу даже с умственно отсталыми детьми, с детьми с поражениями центральной нервной системы и с детьми с ДЦП. Моей маме всё равно, что говорит завуч по воспитательной работе моей школы, поэтому я дружу с этой девочкой с проспекта Мира, 37. У неё тронутая бабушка. Она прошла всю войну, и она каждое утро ходит на Привоз узнать, *почем мидия, помидора, абрикоса, синие*, и купить себе пачку «Беломора». Девочка учится на тройки, в их доме говорят «споймать» и «извиняюсь», зато её мама – парикмахер, и она накручивает нам волосы на тонкие деревянные бигуди, предварительно намочив нам головы «Жигулёвским». И мы целый день

ходим с кукольными локонами и пахнем скисшим хлебом. Как я могу не дружить с такой девочкой, даже если завуч по воспитательной работе моей школы говорит моей маме: *«Оно вам надо?!»*

Потом направо из подъезда я хожу в институт. Из нашего адреса – проспект Мира угол Чкалова – можно сразу выйти на Чкалова. У нас тройной проходной двор. Я сажусь на третий трамвай и еду до улицы Академика Павлова. Иногда эту остановку называют Художественным музеем и никогда – медицинским институтом. Главный корпус, анатомка, военная кафедра, кафедра микробиологии.

«Когда вы окончите институт, вы не только не будете помнить имена большинства преподавателей, но даже их лица не вызовут у большинства из вас никаких воспоминаний. Моё имя вы запомните!»

Штефан Эдгар Эдуардович. Я забыла микробиологию, но в моём языке есть имя, отчество и фамилия этого невысокого, кучерявого, язвительного, вредного, энциклопедически образованного польского еврея.

Мой одесский язык хорош настолько, что позволяет мне свободно общаться в среде носителей. Никогда на одесском Привозе во мне не вычислят москвичку, потому что я не спрошу, *сколько стоят* (только «почём») помидоры и никогда не оскорблю синий ругательным для него неблагозвуч-

ным словом «баклажан». Я легко меняю «чѐ» на «шо» (и даже на «шѐ», но это всё реже, всё реже... иных уж нет, а те – за океаном, и многих из них тоже уже нет) и не вздрагиваю, заслышав слова «споймать» и «извиняюсь». И уже давно еврейский мальчик Эдик – не Эдик, а Эд, профессор Массачусетского Технологического, и моё имя иногда бывает на афишах, спасибо Надежде Викторовне за её настоящую породу, и я знаю, каково оно – не останавливаясь, подниматься наверх, низкий поклон моим одесским склонам и лестницам. Словосочетание «монастырский пляж» в силу ряда причин для меня куда сакральнее всех ведических знаний, а на Таировском кладбище есть могилы любимых мною людей. Я могу рассказать о том, как останки семьи Воронцовых спасли евреи и почему они это сделали, или «Одесскую главу» «Евгения Онегина» наизусть. Но не этим хорош мой одесский язык.

Мой одесский язык хорош тем, что благодаря всем этим пляжам, афишам, крестам, взлётам и падениям, бассейну «Динамо», медицинскому институту имени Николая Пирогова, консерватории имени Неждановой и вечно разрушенной кирхе наискосок от неё, улицам и улочкам, дворикам, переходикам, мальчикам и девочкам, еврейским, украинским и русским, из хороших и плохих семей, здоровым и больным я научилась понимать. И благодаря тому же – редко когда соглашаться с очевидным.

– Девочка, ты понимаешь, шо не надо два часа сидеть в

холодной воде?

– Понимаю.

– Так чего ты туда лезешь и там сидишь? Ты же заболеешь!

– А я так закаляюсь, шоб вы все уже были здоровы!

Я прочитала этот текст вслух своим подмосковным котам, и почему-то щёки мои стали мокрыми.

Коты смотрели на меня неодобрительно.

– А идите к чертям собачьим! – сказала я котам, утёршись рукавом. – Всё равно уже времени нет, да и не пристало писателю пользоваться неавторский контент. Вот это – моё. Плохое оно или хорошее – но оно моё.

Коты, испугавшись слова «контент», принесли мне жирную полёвку в знак примирения.

На следующий день я стояла на маленьком подиуме в одном из торговых залов «Москвы». Публики было достаточно. Выступать в торговых залах – это вам не фунт радиостудии «Маяк» и не метр камерного помещения. В торговых залах шумно, фонит, нет ни редактора, ни звукорежиссёра, а только одна оголённая объективность восприятия тебя разношёрстной аудиторией. Не завладел вниманием? Привет, пишите жалобные письма в Лигу Наций.

«А, будь что будет!» (*«Сплошное непотребство – это ваше бытие, определяемое сознанием!»*) – подумала я и, как в холодную воду, ринулась в первый абзац.

Уже после второго – в одном из торговых залов книжного магазина «Москва» переминалась с ноги на ногу тишина.

«Что-то не так! – носилось по окраинам коры головного мозга, пока я читала. – Наверное, с меня свалились штаны, поэтому они и молчат. Они просто в шоке!»

Тишина переминалась ещё пару секунд после финального *«А я так закаляюсь, шоб вы все уже были здоровы!»* — и... зал зааплодировал.

«Это мне?» – удивилась я. Больше вроде было некому. Я осмелилась осмотреться.

Женщина, стоящая в первом ряду у подиума, плакала.

– Не расстраивайтесь! – я попыталась успокоить её. – Мало ли на свете плохих писателей, так что теперь, из-за каждого рыдать?

– Я не расстраиваюсь! – всхлипнула она. – Я радуюсь! Мы с вами землячки. Я из Николаева. И я очень вами горжусь! – И протянула мне на подпись «Большую собаку».

Я хотела пошутить про Жмеринку или Бердичев, но дама была так искренна... «Из Николаева так из Николаева. Землячки так землячки!» – подумала я, вспомнив, как на Невском проспекте в Доме книги «Зингер» после встречи с чи-

тателями у меня взяли автограф:

– Напишите «Мише из Нью-Йорка от землячки». Он тоже одессит – он из Винницы и учился в Одесском медине, потому что из винницкого его выгнали за неуспеваемость, так он перевёлся в Одессу и сейчас, тридцать лет после, очень плакал над второй новеллой этой вашей «Большой собаки». Мы его понимаем, мы сами из Минска.

«Да к чёрту лысому эту врождённо-дефективную черту всех одесситов, перед которой снимают котелки даже великоросские шовинисты, – помнится, мелькнуло у меня, – планета такая маленькая, все одной атмосферой дышим!» И написала винницкому Мише из Нью-Йорка: *«Нью-йоркскому одесситу украинского происхождения от землячки и однокашницы, русской москвички одесского пошиба Татьяны Соломатиной. Шоб вам ещё сто лет не лабали Шопена, Миша! И дайте спасибо вашим белорусским одесситам за мою сигнатуру».*

Надеюсь, нью-йоркский одессит Миша винницкого урожая понял, что я пожелала ему долгих лет жизни, а сама я текстом автографа долго гордилась как натурально идиотским!

В одном же из торговых залов книжного магазина «Москва» мне тем временем ещё немного похлопали. За-

тем ещё задавали вопросов (знаю-знаю – «задавали вопросы»). Потом началась автограф-сессия, неожиданно (как для меня, так и для магазина) затянувшаяся. Потому что в «Москве» на Тверской оказалось очень много одесситов российского, украинского и – снова да – американского подданства. И каждый хотел поговорить и об Александровском проспекте, и об улице Ремесленной, и о том, как цветут каштаны на Приморском бульваре, и о крыше морвокзала, и о ресторане «Киев», и... И, поскольку книжный магазин «Москва» всё-таки не стол, накрытый в тени винограда где-то под Жеваховой горой, мы вынуждены были прекратить свои речи, потому что – регламент в спину. Хотя я, как обычно, никого не перебивала. Всё больше отмалчивалась и улыбалась.

Некоторое время спустя мой издатель, просмотрев ролик, вывешенный в Сети сотрудниками книжного магазина, сказал мне:

– Круто! Обалдеть. Ты – талант!

– Надо же! – скептически заметила я человеку, издавшему – на тот момент – уже пять книг моего авторства.

Пропустив мою реплику мимо ушей, издатель продолжил:

– Напиши книгу.

– Здравствуй, ёлка, новый год! (*Оригинальная реплика не*

прошла цензуру. – Прим. авт.) Я только тем и занимаюсь, что пишу книгу. Как только заканчиваю предыдущую, так сразу же начинаю следующую. И каждый раз – книгу.

– Нет, напиши *такую* книгу. Вот как «Мой одесский язык».

– Отстань! – отмахнулась я.

В течение следующей пары недель на меня вывалилось невероятное количество давно, казалось, забытых старых одесских знакомых.

А через месяц издательство «Эксмо» отправило меня в поездку по Украине. В Киев и в... Одессу. Да ещё и поселило в гостиницу не какую-нибудь там, а в «Лондонскую». Londonskaya Hotel. Since 1827. Четыре «звезды». Под платанами внутреннего двора ещё Пушкин Александр Сергеевич вполне мог себе позволить... На третьем этаже поселили. В полулюксе. Среди теней и духов. Мейерхольд, Ильинский, Высоцкий.

– Распишитесь, госпожа Соломатина, – ласково попросили девочки за регистрационной стойкой. – В вашем номере останавливался Леонид Утёсов.

«А, Утёсов! Он останавливался в *моём* номере!» Я была готова свалиться в обморок от избытка чувств-с, но менеджер родимого издательства напомнила, что у нас через пят-

надцать минут первая деловая встреча.

Одесская программа, включавшая первоначально несколько интервью, запись передачи для местного телевидения и участие в книжной выставке-ярмарке «Зелёная волна», стала стихийно разрастаться. Незапланированные встречи перетекали в несанкционированные акции. Два рабочих дня переросли в три.

На «Зелёной волне» одесский писатель Валерий Смирнов вручил мне свою книгу «Крошка Цахес Бабель».

Разнообразные люди, которые, как выяснилось, «всегда знали», стали оставлять мне записки. Такого вот, в основном, содержания:

«Привет, Танюша!

Пишет тебе N. Привет тебе от NN.

Узнали, что твои книги продаются на «Зелёной волне», и специально приехали. Мы тебя помним.

Желаю дальнейших творческих успехов.

Оставь, пожалуйста, автограф.

Удачи!»

Прелесть конкретно этой записки (у N и NN, конечно же, есть имена) в том, что написана она была на обратной стороне криво ободранной бумажки с круглым штампом: «*Балінець Гульнар Кадержанівна, фізична особа-підприємник*». Удивившись не столько тому, что, судя по бланку от

ни в чём не повинной Гульнар, Одесса, как и прежде, – многонациональный город, сколько тому – отчего это ладно бы N, с которой меня никогда ничего особо не связывало, но вот NN, терпеть меня не могшая, потому как сто лет назад я, помнится, пожертвовала в пользу её одинокого сердца своего «некуда приткнуть» ухажёра, пришла со мной повидаться?.. И почему это не на «Зелёную волну», буквально за углом, на Дерибасовской, а в гостиницу?.. Неподвластны логике одесситы. Особенно одесситки.

Простите, что не посидела со всеми, кто «всегда знал»! Я на двоих действительно давних и преданных подруг время еле нашла, и с отцом часок в ресторане.

Автографы я, конечно же, оставляла всем желающим.

А потом... А потом... А потом... И всё это в Одессе 2010 года, представляете? Вы пока представьте, а прочитаете чуть позже, в этой же книге, потому что надо же мне предисловие закончить!

Я вернулась домой и почти сразу же отправилась на XXIII Московскую международную книжную выставку-ярмарку на стенд «Эксмо» представлять свою «Акушер-ХА! Вторая (и последняя)».

Только присела, только микрофон в руки взяла, как ко мне подскочил стройный брүнет с полной торбой. Охранник напрягся, но внезапный гость вывалил из своей сумы четыре тома «Таки да большого полутолкового словаря одесского

языка» авторства всё того же Валерия Смирнова. С автографом автора.

После выставки, в тот же день, я отправилась на запись одного из ток-шоу канала TV-5. И меня усадили на одну скамью с Яковом Брандом. Кардиологом, доктором наук, заведующим профильным отделением в Склифе, ведущим телепередачи «Без рецепта» и просто умнейшим и обаятельнейшим мужчиной. Я немедленно влюбилась, мы ласково перешёптывались. А после первого блока он ушёл... Разумно. Занятой человек. Ну тогда оно и понятно.

– Бранд велел вам передать свой номер телефона, – сказала мне редактор Оля, когда я вышла из студии. – А вы знаете, что Яков Бениаминович родился в Одессе и окончил Одесский медицинский институт?..

Без двух минут полночь тех же насыщенных суток мне пришло письмо от моей соседки по коммунальной квартире на Розы Люксембург/Бунина, угол Свердлова/Канатная (я жила там с восемнадцати до двадцати с небольшим лет! А с Тоней не виделась лет пятнадцать!!!). Письмо начиналось так:

«Привет, Танюша!

Это Тоня М. с Ибунина⁴, 8. Ты меня помнишь?..

⁴ Исторически улица носила название «Полицейская». Уж не знаю, почему ули-

Я всегда знала...»

В половине первого ночи я набрала телефон издателя:

– Всё! Сдаюсь! Я напишу это!!!

– Что ЭТО?!

– Ну-у... Все как один умрём в борьбе за это!

– За одесский язык, что ли?

– Не за одесский язык! А за

МОЙ ОДЕССКИЙ ЯЗЫК

Но только никакого одесского языка в этой книге не будет.

Пусть об гезель⁵, гицель⁶ и гембель⁷, историю их возникновения, трактовку и «право первой ночи» ломают копыа другие, куда большие специалисты в этой конкретно взятой узкой специальности жаргонов, сленгов и суржиков. Меня

це Розочки (Розы Люксембург) не вернули историческое название, но факт остаётся фактом: в середине девяностых двадцатого улицу переименовали в улицу И. Бунина. Одесситы очень любят Бунина. Но не того, который Яков Бунин и в конце девятнадцатого века начальствовал в полицейском управлении (и, по свидетельствам современников, был форменным придурком), а именно первого русского лауреата Нобелевской премии по литературе, Ивана Алексеевича Бунина. Видимо, чтобы даже памяти о Я. Буinine не осталось, улицу стали называть улицей И. Бунина, как и было написано на табличках. А позже точку, извините, дождями смыло. Да и фонетика обязывает...

⁵ Ученик, подмастерье.

⁶ Работник «собаколовки».

⁷ Крупная неприятность.

вовсе не распирает немыслимая гордость за «мудебейцалы» или «пурицов». Я тут скорее на стороне Ивана Алексеевича Бунина:

– Вы домой? – говорю как-то писателю Осиповичу, прощаясь с ним на улице.

Он отвечает:

– Отнюдь!

Как я ему растолкую, что так по-русски не говорят? Не понимает, не чуёт:

– А как же надо сказать? По-вашему, отнюдь нет? Но какая разница?

Разницы он не понимает. Ему, конечно, простительно, он одессит. Простительно ещё и потому, что в конце концов он скромно сознаётся в этом и обещает запомнить, что надо говорить «отнюдь нет»⁸.

Да, я родилась в Одессе. Но в семье русских, родившихся и выросших в России. В семье моей говорили не на одесском, а на русском языке. Да, я одесситка, но я не оканчивала Одессу с целью поступления в Москву. Я просто вернулась на историческую родину, причём вовсе не из любви к родине (мой папа-коммунист как-то попросил боженьку, чтобы я выросла «безродной космополиткой», и, судя по результатам, его внезапная молитва была услышана), а из люб-

⁸ И. Бунин, «Окаянные дни», «Одесса 1919».

ви к мужчине. Но – да – я одесситка, и это значит, что рядом со мной с самого моего рождения были удивительно яркие люди. Двор на проспекте Мира был Вселенной, а улочки Шестнадцатой Фонтана – Галактикой. Мама одёргивала меня, если я, вернувшись от школьной подружки, обладательницы типичной такой бабушки, говорила: *«Замандюрилось биточков из тюльки пошамать!»*

– Так нельзя говорить!

– А как? – искренне удивлялась я.

Мама некоторое время думала:

– Надо говорить: «Вошла в голову блажь поесть котлет из тюльки».

Хотя мама и сама всю (мою) жизнь называла котлеты из тюльки «биточками».

Так что если нет-нет и мелькнут в моих рассказах «одессизмы», то я заранее скромно сознаюсь, что они тут – такие же незыблемые «декорации», как само Чёрное море или Потёмкинская лестница. Или биточки из тюльки. Куда без них? Особенно без правильной тюльки, которой в Москве днём с огнём.

Но не в этом, не в антураже, мой одесский язык.

Мой одесский язык – это люди и море, степь и шелковица, первые безумные влюблённости и кажущиеся ужасными предательства. Мой одесский язык – это забавные и грустные, смешные и не очень истории. Мой одесский язык – это огромная империя без границ и даже частенько без времени и времён. Мой одесский язык – это помидоры микадо, белые арбузы, розовые кусты, красные маки и белый песок. Мой одесский язык – это плиты «монастырского» пляжа, белые шары Ланжерона, пыльная Лузановка, «Золотой берег», «Отрада» и ботанический сад. Мой одесский язык – это праздничный салют в парке на Пятой Фонтана, невзирая на только-только наложенные швы. Мой одесский язык – это велосипеды «Орлёнок» и «Салют», бассейн «Динамо» и детская музыкальная школа номер два. Мой одесский язык – это мол и Тёщин мост, «привозная» школа и шахматный клуб, Торгсин и Слободка, крыша морвокзала и ресторан «Киев». Мой одесский язык – это старые корпуса медина и вечно юная жажда поиска приключений на своё седалище. Мой одесский язык – это нервный доberman Граф и безумный «дворянин» Хома. Мой одесский язык – это город, где я родилась, выросла, и, чаще всего, была счастлива.

Кстати, о «родилась»...

Дороги, которые не мы выбираем

Родилась я восьмого июля 1971 года в четвёртом родильном доме на Пересыпи. У мамы начались схватки, а папа был в ДНД.

О том, что такое роды, как они начинаются, развиваются и завершаются, мама уже имела некоторое понятие: в 1963 году она родила моего старшего брата в шестом родильном доме в Парке Шевченко. И поэтому родов мама боялась. Но папа был в ДНД. Добровольной Народной Дружине. Добровольной она была очень условно, честнее было бы назвать её Принудительной Народной Дружиной. Но в те времена любой, осмелившийся публично и громко назвать ДНД – ПНД, мог быть поставлен на учёт в Психоневрологический диспансер (ПНД, к слову). Впрочем, времена были не такие уж и суровые, поэтому шёпотом и среди своих её, дружину, так называли ПНД. Это я, правда, значительно позже узнала, а когда решила появиться на свет, то ничего такого решительно не понимала. Помню только, что мною овладело беспокойство и охота к перемене мест...

Итак – мама боится, потому что мамам-то всегда спокойнее, когда дети при них, а не линять собрались. Папа – в ДНД. А мобильных телефонов тогда не было. Вообще. В природе. У нас тогда даже домашнего не было. Это по рас-

сказам родных и близких. Но с тех пор, как я себя помню – в квартире по адресу проспект Мира угол Чкалова, у нас всегда был домашний телефон. Двадцать два – восемьдесят девять – восемьдесят два.

Господи, сколько цифр я забыла! Сколько важных телефонов, номеров счетов и даже банковских ячеек (я уже не говорю о днях рождения близких друзей и, например, свёкра со свекровью), а тот номер телефона – помню. Не звоните, там давным-давно живут другие люди, и они сменили номер телефона. Но вот это: «двадцать два – восемьдесят девять – восемьдесят два» – высечено у меня на подкорке. Зелёный аппарат, прозрачный диск с дырочками. Указательным пальцем якоримся в соответствующее гнездо и начинаем накручивать:

*Пырпыр-пырпыр-пырпырпырпырпыр пырпырпырпыр
пырпырпырпырпырпырпыр пырпырпырпыр пырпырпыр
пырпыр-пырпыр...*

Лирическое отступление.

Всю жизнь удивляюсь: звонок самому себе всегда остаётся без ответа. Как к Богу.

Набираешь свой собственный номер – а там занято. Вот что нас с Ним отличает!

Казалось бы, если с кем и стоит общаться в первую оче-

редь – так с самим собой. А в ответ только ритмичная серия коротких гудков. Редко кто способен на конструктивный диалог с собственным «я». Не прорвёшься сквозь монотонный затяжной ливень внутреннего монолога: «ту-ту-ту-ту-ту...»

Конец лирического отступления.

Поскольку он – Зелёный Пыр-Пыр – всегда был в моей жизни, значит, он появился вскоре после моего рождения.

А когда я собралась родиться – телефона не было. Так что мама даже такси не могла вызвать по телефону. Да и вызывать такси по телефону в Одессе 1971 года было затеей безнадежной. Даже будь у нас тогда телефон, мама не смогла бы позвонить и своей собственной маме, потому что у той тоже не было телефона. Да и чем бы моей маме помогла её мама, если моя мама на проспекте Мира, а мамина мама – на Шестнадцатой Станции Большого Фонтана, да ещё и с моим старшим братом и с целым кагалом гостей из разных городов?

Поэтому моя мама собралась, вышла из нашего проходного двора сразу на Чкалова, поднялась квартал наверх, к Советской Армии (к морю – вниз, от моря – наверх), и села на третий трамвай. Понятия не имею, почему меня повезли родиться на Пересыпь, если брат уже был рождён в Парке Шевченко? Может быть, шестой родильный дом был закрыт

на помывку? А может, маме третий трамвай, идущий на Пересыпь, нравился больше третьего троллейбуса, идущего в Парк Шевченко, причём остановка его была тогда всё на той же улице Чкалова, полквартала не доходя до Советской Армии? Не знаю. Но мама села на трамвай и поехала. Вышла на конечной, ещё немного прошлась и позвонила в двери приённого покоя. Её выпустили без второго слова.

В ту ночь в четвёртом родильном доме вообще мало говорили. Потому что у врачей были совершенно шальные сутки. В одном физиологическом родильном зале, куда маму молча и быстро направили, произошло пятнадцать родов. Небывалый для тех времен бэби-бум случился восьмого июля 1971 года на Пересыпи. Врачи охрипли и потому зря слов на ветер не бросали.

И вот когда я уже совсем родилась, то сперва ничего не поняла. Чувствую – родилась уже. Но почему-то вроде как ещё всё по-прежнему. Тепло, уютно и вода. И всё, как через...

– Рубашку! Рубашку вскрой, балда!.. Прочь, я сам!

И тут у меня всё стало как у всех. Воду спустили, холодно, меня старый еврей поперёк тельца держит прямо голой волосатой рукой без перчатки. А у меня голова такая тяжёлая, что я даже возмутиться не могу. Только в зобу дыханье спёрло, и понимаю, что если сейчас не заору, то задохнусь

от ярости. Последнюю рубашку содрали! То есть – первую. Вот про это я и заорала.

– Смотри, она ещё и басом ругается, вместо того чтобы дядьке спасибо сказать за то, что вовремя мимо пробежал. Впрочем, судя по обстоятельствам твоего рождения, всё и всегда в твоей жизни будет необычайно вовремя. Всем будет казаться, что уже швах, а ты – бац! – и в профите.

Поднял меня тот старый еврей, как поросёнка на базаре, и маме моей говорит:

– Видишь? Девочка. Счастливая, что таких уже немножко перевелось. Я роды в «рубашке» только у цыганок видел. Ну, ещё у коз, коров и кобыл. А у белых женщин с высшим образованием – никогда. Ты хоть понимаешь, мать, что такое родиться в «рубашке»? Ты думаешь что? Пословицы с поговорками из шухлядки достают? Надо – бери! Нет – удочерю!

Мама ему не то смеётся, не то плачет, а я думаю: «А где же она, моя рубашка?! Мне без неё холодно! Не успела на свет родиться, как уже раздели на той Пересыпи!»

– Ладно-ладно, шучу. Бери своего цурипопика⁹. И скажи спасибо, что я тут мимо пробежал.

⁹ Несмышлённыша.

Положил меня маме на живот, прикрыл одеялом, и дальше я ничего, до самого Зелёного Пыр-Пыра, не помню. Потому что от тепла, сытости и покоя интеллект отшибает только так!

Потом уже мама рассказала, что врачи забегались, рожать – в смысле, уже совсем, потужной период – она начала в коридоре на каталке, и роды у неё какая-то молоденькая акушерка принимала. Ну как «принимала» – охала и ахала от страха, потому что только на днях из медучилища, в основном звала на помощь старших товарищей. А когда я в чудном радужном околоплодном пузыре появилась, так она вообще от ужаса не знала, что делать. Но тут мимо заведующий отделением пробежал. Хоть и без перчаток, но вовремя. Потому что моя мама всё-таки не коза, хотя меня родила канонически правильно, но плодный пузырь вскрыть бы не догадалась. Потому что человек в иных вопросах соображает куда меньше животного. Юная акушерка же на плакатах про рождение ничего такого не видела. А в учебниках было написано про «воды излились». Раньше ли, во время схваток, позже ли – во время потуг, – но излились. У мамы моей – не излились. Плотный очень был околоплодный пузырь. В крепкой меня родили «рубашке». Домотканой.

Через три дня нас с мамой выписали. Папа уже не был в

ДНД и привёз распашонки, чепчики, розовые ленты и всякие прочие девичьи глупости. Меня во всё это нарядили. Говорят, я сильно орала. Густым басом. Я не помню причины, но уверена, что требовала нарядить меня в родную рубашку, а не запаковывать в праздничный торт.

Мама с папой вышли из родильного дома и решили поймать такси. Потому что ехать со свежим праздничным тортом в летнем одесском трамвае – негигиенично. Слева была улица Богатого, справа – улица Московская. Если стоять спиной к фасаду родильного дома. Если лицом, то справа – Богатого, слева – Московская. Движение тогда по обеим улицам было двустороннее. Мама с папой покрутились-покрутились – и пошли-таки ловить такси на Московскую.

Меня тогда никто не спросил, но результатом я довольна.

Я действительно очень счастлива. С тех самых пор, как родилась.

Хотя не единожды... Слишком не единожды я попадала в ситуации, после которых если не панихида с эпитафией, то только и говорить: «Родилась в рубашке». Потому там, где другим полный швах – я в профите.

И что я могу сказать? Только то, что это чистая правда.

Позитив не роскошь, а средство передвижения!

Какие-то смешные тридцать девять лет спустя той памятной июльской ночи 1971 года я стала участницей очередного странного диалога. В последнее время это со мной случается всё чаще.

Приходят какие-то люди с диктофонами. А с ними ещё люди – с фотоаппаратами. Смотрят на меня строго и начинают вести допрос. Фотографы порхают вокруг, ослепляют меня вспышками и совершенно лишают способности здраво мыслить и связно излагать. В результате потом в протоколе... Пардон, в газетах и/или журналах читаешь примерно следующее:

Корреспондент: Вы как-то сами себя назвали графоманом. Почему?

Соломатина: Каждый кактус – суккулент. Но не каждый суккулент – кактус. Любой писатель – графоман. Но не всякий графоман – писатель.

К.: Говорят, ваша графоманская деятельность занима-

ет по 12 – 14 часов в сутки...

С.: Это деятельность по написанию книг и зарабатыванию денег. Если человек хочет чего-то добиться, он должен много работать. Вы видите меня после двухдневного марафона...

К.: Вижу и завидую.

С.: Не завидуйте – разберитесь, что к чему. Я не устаю, потому что не думаю о том, что я устаю. Я курю. Я пью, потому что мне нравится хороший алкоголь. Когда я что-то делаю, я стараюсь получать от этого удовольствие. Как сказали бы тренеры НЛП-курсов – «позитивное мышление!».

К.: И завтра вы на таком же позитиве едете в Одессу...

С.: Я не на позитиве, я на микроавтобусе. А насколько позитивной будет поездка, зависит от того, будет ли работать кондиционер.

На самом деле киевская журналистка была очень мила, и мне даже удалось её развеселить. Менеджеру издательства она доложила, уходя из кафе готеля «Днипро», что «Соломатина – классная тётка». Чем я очень, между прочим, гор-

жусь.

Но в печатной версии интервью «Газете по-киевски» не было ремарки «смеётся» рядом с «я не на...», потому мой текст о позитиве и автобусе выглядел не вполне нормальным. А я чувствовала себя, узрев номер, как тот мальчик Зяма, герой одесских анекдотов:

– *Зямочка, скажи мамочке хоть раз в жизни что-то умного.*

– *Ишь какая хитрая!*

И хотя журналистка во время нашей личной беседы настаивала на том, что я умная («Вам, человеку умному, так или иначе есть что сказать...» – конец цитаты), но из газеты этого никому не видно. Впрочем, слишком жарким августом 2010 года всё имело несколько расплывшийся смысловой оттенок.

Например, даже такое априори неизменное понятие, как кофе.

Вот что такое для нас, кофеманов, кофе? Кофе – это то, без чего бессмысленно начинать. Просыпаешься – и все мысли о кофе. Душ, зубы, поменять пижаму на что-то более пристойное (что может быть пристойнее хорошей пижамы?) – вторично. Кофе, кофе и ещё раз кофе. Хороший кофе. Хорошая вода. Турка. Три раза дать подняться. Сахар, молоко,

сливки – по желанию. Мне достаточно просто чашки горького горячего кофе. Потом уже всё не так бессмысленно. Кофе – та самая субстанция, без которой я не дух, а тело. Одухотворившись первой чашкой кофе, я уже не просто анатомия и физиология – я звучу гордо, бодро и способна творить позитив.

Но в баке даже самой экономичной модели рано или поздно заканчивается бензин.

Заправившись первой чашкой кофе, мы, позитивные, на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером отправились в путь по трассе Е-95 Киев – Одесса.

Последний раз я пользовалась этой трассой в 2005 году. Хочу сказать, хорошо, что я не так старею каждые пять лет. Оставим подробности дорожного строительства в нашей и родственных странах (как-то: экономию на геодезии, отличный от должного процент усушки-утруски-укатки сыпучих и зыбучих материалов, «армянский» асфальт и всё такое прочее), потому что спустя некоторое время я, муж, издатель, менеджер и водитель захотели кофе.

Изредка мелькающие мимо рестораны и кафе под названием не то «Борщ», не то «Сало» не вызывали доверия. О них сообщали совершенно безумного визуального ряда рекламные щиты: голые девицы в бикини-вышиваночках, кокошниках, и с ними несвежий дядька ростом с горшок.

– Это украинский министр культуры, – пояснила менеджер «Эксмо».

– Что он делает на этих плакатах с голыми девками, вышитыми крестиком?

– Поёт. И танцует. К тому же это его кабаки. Рекламирует, так сказать.

После таких ремарок подкрепляться в этих заведениях охота отпала напрочь. Да и съехать к большинству из них просто-напросто не представлялось возможным. Они как-то по другую сторону разделительной, что характерно.

И вот наконец – о чудо! – не просто придорожный кабак, а таки произведение лубочного искусства: всё такое деревянное, милое, уютное. Аутентичное по самые украинские степи. И никаких билбордов с одним гномом и семью белоснежками.

Радостно высыпала наша немногочисленная группа из микроавтобуса и побежала под сень навеса, под которым стояли аккуратные деревянные столики. Какая, согласитесь, прелесть – в наш поголовно полимерный век!

Первым делом мы с менеджером поинтересовались, а где же дамская комната, она же – санузел, она же – туалет, клозет, рест-рум, галыон и прочее. Мужчинам на трассе легче, а мы, такие воздушные феи, обутые в иллюзорные сандалии, состоящие из пары тонких кожаных ремешков, так и не ре-

шились спуститься в дебри посадок, густо унавоженных автопутешественниками.

– Тама, – махнула рукой приветливая официантка.

«Тама» не было света.

Наша с менеджером бурная юность пришлась на безумство стадионных рок-концертов, так что мы вполне обошлись ловкостью рук и зажигалками (а вы говорите, курить вредно!).

Вернувшись спустя пару минут, мы застали душераздирающую картину: официантка объясняла мужчинам, что еды нет, кофе нет и даже её самой нет, потому как «свита нэма!». Конец света, да.

– А чай горячий? – вопрос прозвучал неуместно.

Презрительное молчание.

– То есть кипяток есть. Тогда, может, удастся добавить к нему волшебной чёрной пыли, что пьяные поляки сметают вениками в одном из портовых складов матушки Европы? – всё ещё «на позитиве» объясняли мы один из возможных алгоритмов.

– Кипяток есть, – без тени улыбки ответила нам официантка.

– Ну так насыпьте в него заварки! И кофейного порошка! – взвизгнули мы хором.

– Послушайте, если у вас есть кипятилок, значит, вы его где-то добываете? – уточнила менеджер «Эксмо».

– Да. У нас газ.

– Отлично! А у вас есть нерастворимый кофе? – не отставала она.

– Да. У нас есть нерастворимый кофе. Но кофе-машина не работает!

– Да и бог с ней. Вы поставьте на газ турку...

– Турки нет.

– Эмалированную кружку! Кастрюльку! Ведро! Любую ёмкость!

– Нерастворимый кофе варится только в кофе-машине.

Еле оттащив менеджера от официантки, я напонила, что мы едем в Одессу «на позитиве», и ничто во вселенной не сможет заставить меня поменять вид транспорта. Ни туалет при зажигалке, ни растворимый кофе без света. В конце концов, он коричневый и жидкий... И пахнет.

– Да-да! Именно так обычно пахнет то самое, коричневое и жидкое, – пробурчала менеджер.

– Эй! Всем радоваться! Ударим позитивом по бездорожью трассы Е-95 и аутентичному разгильдяйству отхожих мест! Одесса идёт на смену засранным предместьям! – бодро ско-

мандовала я на правах восходящей звезды. – Там всё будет в ажуре. Там у людей есть и кофе, и турки... – и пафосно продекламировала:

Потом за трубкой раскалённой,
Волной солёной оживлённый,
Как мусульман в своём раю,
С восточной гущей кофе пью¹⁰.

Но компания моя была уныла.

Больше всех расстроился шофёр, потому что никак не мог понять, отчего это такой «не такой» кофе стоит шесть гривен чашка. Но мы его успокоили, потому что шесть гривен – это всего двадцать четыре рубля. За двадцать четыре рубля в Москве даже коричневого и жидкого не нальют. Причём расстроился шофёр не от жадности (и за его кофе платило издательство), а из принципа. Ему стало обидно за державу перед иностранцами. Мы ему признались, что я родилась в Одессе и потому как бы совсем своя. А за жидкое и коричневое славяне друг на друга никогда особо долго зла не держали. Подумаешь!

Главное не то, что голова без кофеина раскалывается, а – позитив!

Вот на нём мы в Одессу и въехали. Не с улицы Москов-

¹⁰ Из «Одесской главы» «Евгения Онегина». А.С. Пушкин.

ской, из Киева-то совсем по другой. Плавно вливающейся в центр Города.

Слева мелькнул автовокзал. Помнится, более загаженно-го стойбища автобусов в жизни я никогда и нигде не видела, а нынче, издалека, он был вполне себе ничего. «Интересно, изменилось ли хоть что-то в общественных туалетах этого транспортного узла?» – мелькнуло у меня вовсе не подходящее к такому торжественному – въезд в родной Город «известным российским писателем» – случаю.

Въехали на Воровского. Ту, что Малая Арнаутская.

– Смотрите, смотрите! – пинала я раскисших мужа, издателя и менеджера. – Это библиотека имени Ивана Франко! Ну та, что банк в «Зелёном фургоне» и хлебный Никиты Нечипорука в «Дежа вю»!

– Булочная! – лениво поправил меня издатель, мельком глянув на задник библиотеки, расположенной в Книжном переулке. Смотреть особенно было не на что. Она известна всему миру только с фасада. А сейчас и вовсе – в строительных лесах.

– В Одессе булочная могла быть только в польско-советском кино. А у нас были хлебные! Там ещё если чуть пройти – проходной двор, и выходишь прямо к кинотеатру «Родина», очень удобно с уроков было сбегать! – я перешла на скороговорку. – Потому что вот, вот же ж, вот! Моя школа! Сто восемнадцатая! «Привозная!» Потому что наискосок, там,

где вы не видите, – Привоз! Но он есть, честное слово! Должен быть! Вообще-то мама ходила делать базар на Привоз с проспекта Мира, но он, Привоз, очень большой и выходит и на Советскую Армию, и на Чижикова, и вдоль зоопарка. Он огромный, огромный! Раньше там стояли такие дощатые прилавки, а вон там был рыбный ряд... А школу мою, в отличие от библиотеки-банка-хлебной-булочной, вы видите не сзади, а сбоку. И тут, где сейчас салон красоты, у нас были труды! Я тут сшила фартук. Первый и последний раз я что-то вообще сшила именно тут!

Все сведения в один квартал впихнуть не удалось, да и не слушал меня никто. Все были обескофеинены и сморены трассой. Одна я радовалась, как не в себе, и не могла понять, отчего это «свита» не разделяет моей эйфории. Может, и хорошо, что нормальный кофе нам не обломился? Я и так-то возбуждалась сверх меры.

Дальше по Воровского. Дом, милый дом... То есть двор. Один из проходов... То, что когда-то им было, – промелькнуло слева. Кажется, арку двора Воровского обвивает всё та же лоза. Она ни капли не изменилась. Что для древней лозы какие-то десятилетия?! Но проход между дворами закрыт решёткой – в закодированную калитку как раз проникал цивильного вида гражданин, совсем не похожий на прежних обитателей этого двора. Я чуть шею себе не свернула, но разглядела. Молча. Чтобы не утомлять ещё больше своих спут-

ников.

На проспекте Мира между Воровского и Чкалова воздвигнут какой-то памятник. Ну, не то чтобы памятник – памятничек. В том самом месте, где, когда я была маленькая, располагался не то какой-то ремонтный цех, не то прикрытие какой-то частной артели по индпошиву «американских» джинсов...

Аккурат напротив проспекта Мира, 34 – пардон, уже давно, конечно же, снова Александровского проспекта – возведена крытая стоянка. Тень накрывала увиденный мною солнечным августовским днём когда-то законно мой участок вселенной.

«Наверное, каштаны на месте. Наверняка никто так и не смог известить их никакой соляжкой. И у жителей дома, если осталась хоть одна невыкупленная под офис квартира, не растут даже бегонии». Я погрустнела. Тумбы с афишами, наклеенными вручную, не было. Стоял современный рекламный носитель – не знаю, как они называются. Не из самых больших. Носитель не извещал о расписании Оперного на август-сентябрь, а приглашал остановиться в «Отраде». Нет, не на пляже. А в «единственной пятизвёздочной гостинице на Юге Украины».

Глупо было ныть. Времена меняются – и с ними меняемся не только мы, но и наши города.

Я ещё чуть-чуть погордилась гостиницей «Чёрное море» и Центральным универмагом, хотя гордиться, в общем-то,

нечем. Пыталась рассказать и про первый увиденный мною в ресторане «Чёрного моря» стриптиз, и про насквозь побитый молюю вьетнамский ковёр, купленный моим папенькой в Центральном универмаге, но мы свернули на Пушкинскую и потрусили по брусчатке туда, к «Красной», к Пушкину, к Приморскому бульвару, к..., к..., к...

– А почему это булочная Никиты Нечипорука не наискосок от гостиницы «Красная», как в кино?

Тут я уже просто пожала плечами. Не знала, что ответить. Совсем не знала. Рассказывать о том, как мы с мужем однажды попали в гостиницу «Красная» в состоянии полного и окончательного дежавю – не хотелось. Это наша и только наша история. О которой мы вспоминаем, если честно, с большим трудом. Так... Фрагмент окна в туалете. Кусочек лестницы. Дверь на балкон. Хмельная консержка...

На Приморский въехать можно только через шлагбаум, расположенный в конце переулка с «плоским домом», а я этого не знала. Как и киевский шофёр. Так что, припарковавшись на площади По-тёмкинцев... Снова извините – опять Екатерининской. Так что на полном и окончательном позитиве мы бодро дотащили свои сумки, поселились и...

– Через пятнадцать минут у нас первое интервью! – строго

сказала неумолимая менеджер.

– Кофе!!! – крикнули все хором.

– Там!

«Там» – это было в «Стейк-хаусе» (никогда не прощу одесситам закрытый «Фидель»!). И, простите, – первое интервью в родном Городе, данное уже «известным российским писателем»... В Городе, некогда покинутом мною с одной сумочкой и болтающимся в ней паспортом. В Городе, откуда я улетела обычным человеком, с обычной специальностью... И вот теперь я иду по его главным улицам, иду, простите за очевидную и явную банальную пошлость, некоторым образом победительницей (а победителей – см. в Тарантино – не любят), а меня за столиком ожидает журналист с диктофоном, чтобы прописать в газете... Я осталась точно таким же обычным человеком, сменив обычную специальность на такую же – обычную. Но мне почему-то никто не верит, что всё так просто и обыкновенно. Особенно в родном Городе. Все хотят знать «секрет», и я щедро делюсь им. Но всё снова и снова так просто, что мне обратно никто не верит! Простите, я просто обязана поместить это интервью – вернее, то, что из него получилось, – в этой книге. Потому что и это интервью – *мой* одесский язык. Без особых купюр, но с моими ремарками. Беседовала Инна – что характерно – Кац:

«Леонид Утёсов говорил, что все хотели бы родиться в

Одессе, но не всем это удалось. Татьяне Соломатиной повезло: ей удалось родиться в Одессе. А как говорил другой великий одессит, Исаак Бабель (если верить тоже непростому человеку – Константину Паустовскому), «у нас в Одессе... будут свои Мопассаны. Потому что у нас много моря, солнца, красивых женщин и много пищи для размышлений. Мы мирные жизнелюбы. Мопассанов я вам гарантирую...» Так что выбора у Татьяны не было – пройдя путь практикующего акушера-гинеколога, став кандидатом медицинских наук и доктором философских, она занялась писательством. Не знаю, сыграло ли в этом свою роль место рождения (много солнца, моря и пищи для размышлений) или это – очередной штамп, а штампов Татьяна Соломатина не любит.

(Ох уж эти журналистские «шапки». Никак не могут без этого вот: «Утёсов-Бабель-Паустовский...», «выбора не было...», «пройдя путь...» и перечисления давно забытых на антресолях ВАКовских дипломов. «Штампов Татьяна Соломатина не любит», – пишет приятнейшая Инна Кац, настроив предварительно штампов.)

«Процент писателей из врачей не так уж и велик...» (Это подзаголовок, чтобы вы понимали...)

Инна Кац: Татьяна, из врачей зачастую выходят неслабые писатели. Как вы думаете, с чем это связано?

Татьяна Соломатина: Это заблуждение. Можно вспомнить Чехова, санитарного врача Аксёнова, Булгакова, Версаева и так далее, и так далее. Но если посчитать статистику всерьёз, а не озвучить в очередной раз расхожий штамп аля «по мнению британских учёных», то процент писателей, выходящих из врачей, не так уж и велик. Процент писателей, выходящих из инженеров, мне кажется, будет гораздо больше. Начиная с Андрея Платонова и так далее. Или из вообще «необразованных» людей – Горький, Бродский... Но я уже поняла – это такой бренд, такая тема, такое стереотипирование произошло, поэтому я должна ответить правильно, стереотипно. Сейчас постараюсь... Видимо, просто врачи имеют больше жизненного опыта. (О Боже! Врачи имеют жизненного опыта! Видали? И это я только приехала в ту Одессу. Конечно же, надо было сказать: «У врачей куда более богатый жизненный опыт, чем...» А тут тебе – и пресловутое «имеют», и перманентная страсть к родительному

падежу.) И в процессе обучения в медицинском институте и некоторой последующей практики развивается наблюдательность. Вся заслуга Чехова в том, что он крайне, крайне и крайне наблюдателен. Он просто препарировал человеческую натуру. Не знаю, насколько помогло Аксёнову его медицинское прошлое – недолгое, санэпидврачебное... Я его люблю просто так, не за это, а просто за огромную, огромную харизму, которая перекрывает его огромное же, хотя тут со мной могут спорить, писательское мастерство. Булгаков – он тоже не так долго работал врачом. «Записки молодого врача», «Морфий» – автобиографическая повесть, из которой фильм, кстати, сделали просто ужасный. Намешали туда всё, что только можно. Я не знаю – сейчас я скажу ключевое слово – (с пафосом. – *Прим. ред.*). Я не знаю, как это смотрит молодёжь, но людям нашего поколения (*смеётся*) это смотреть невозможно.

То есть некий опыт, основы пропедевтики, наблюдения за человеческой природой, наверное, помогают. Ну, если хочется, чтоб из врачей получались хорошие писатели... Это же верхний срез, верхушка айсберга. Обывателю (в хорошем смысле слова обывателю, это слово не ругательное – это обыкновенный человек, такой, как я, как мой менеджер, издатель) – обывателю приятно, что человек ковырялся сначала скальпелем внутри, а теперь он ковыряется... нехорошее слово – «ковыряется». Копаются, копошится, разыскивает, ищет...

Инна Кац: Изучает...

Татьяна Соломатина: Изучает, да. Изучает человеческие души. Не знаю, у меня нет такого убеждения: «Из врачей получают хорошие писатели». Из врачей получают врачи, иногда получают представители фармфирм, иногда получают просто хорошие люди. Я не знаю. Мне кажется, профессия здесь совершенно не играет определяющей роли.

Инна Кац: Что заставило вас взяться за перо?

Татьяна Соломатина: Да ничего меня не заставило браться за перо. И никто. Я вообще не люблю, когда меня заставляют.

Инна Кац: Что вас подтолкнуло?

Татьяна Соломатина: Ничего не заставляло, не подталкивало, я всё делала по доброй воле, и всё получилось в результате естественного хода вещей. Событий. Нет таких ни моментов, ни факторов, ни подтолкновений, ни столкновений, ни пинаний... То есть никто насильно меня не заставлял. Просто всё получилось как получилось, и я этим очень довольна. Появилась возможность, и я ею воспользовалась. Вот все об этом спрашивают, как будто такое – раз! –

утром проснулся, и ТЫ ПИСАТЕЛЬ. Нет же, конечно. Ты пишешь, пишешь, пишешь. На обоях, в тетрадах, дневниках. Куда-то посылаешь, что-то печатаешь. Когда ты работаешь врачом, пишешь в какой-нибудь глянец. Сначала просят что-то прокомментировать, так нравится комментарий, что главред просит тебя что-то написать. Сначала пишешь в один журнал, затем – сразу в несколько. И в женские, и в мужские, и в научно-популярные. А в одно прекрасное утро звонят из издательства и говорят, что вот, вы знаете, мы прочитали одну из ваших статей. Вы не хотели бы написать нам книгу? Какую-нибудь, какую вам угодно. А вы говорите, мол, вы знаете, у меня такая уже есть. Я её писала, писала... Вот как вы удачно позвонили (*смеётся*).

Правда, просто течение жизни. Естественное. Я не могу разделить свою жизнь дорогами – главной и второстепенной. Нет вех. Нет реперных точек. Плавно, хорошо – как плавать, как нырять, как парить. Никаких переломных моментов, всё целое. Просто повезло. Моя любима фраза – «просто повезло». Тем более она нравится людям. Так легче. Вот ей, ему, им – повезло. А нам – нет. Но все мы – хорошие и талантливые.

«Нет секрета успеха – есть успех» *(Вы уже понимаете, что это подзаголовок?)*

Инна Кац: Сейчас большой интерес к медицинской теме – в кино, в литературе... Чем вы это объясняете?

Татьяна Соломатина: Во-первых, я не вижу слишком большого интереса к этой теме, чтобы с чем-то связывать. Правда, не вижу. Сериал «Интерны» вы имеете в виду? Иван Охлобыстин сказал, что он потом помолится, отработает. «Доктор Хаус»? Разве это о медицине? Всё это, в лучшем случае, просто о людях в медицинском антураже...

Инна Кац: Значит, просто к антуражу интерес.

Татьяна Соломатина: Да нет. Снимите замечательный комедийный сериал где-то на консервном заводе, он тоже пойдёт. Просто никто не пробовал.

Кто-то первый схватился за человека в белом халате, все остальные пытаются повторить успех. А повторить – невозможно. Даже если ты его отпрепарируешь, гистологию сделаешь. В электронный микроскоп рассмотришь. Охлобыстин, при всём моём уважении к нему как писателю, сценаристу и человеку кино, так и не сделал второго «Доктора Хауса».

Тема медицины – это руководство по маточному кровотоку, а не сериал или сценарий, и не что-то ещё в интервью. Я всё время говорю, что повесть Грековой «Кафедра» никто не называл книгой о математике, руководством по математике, хотя там действие происходит на профильной кафедре. Это книга о людях, об отношениях между людьми, о старости, о молодости, об удаче, неудаче.

Я не знаю, как сейчас в Украине, но в России тема врачей на волне, причём очередной виток темы: «врачи-убийцы-негодяи-сволочи-глупцы». То им приписывают синдром богов, то им вменяют негодяйство страшное и чёрное... А всё, как обычно, вызвано очередными геополитическими процессами. Больше «политическими», чем «гео». Все переведётся, скорее всего, на окончательно и бесповоротно платные рельсы, поэтому для начала нужно создать образ врага. Образ врага очень приятен для обывателя, потому что, если есть враг, значит, ты ни в чём не виноват. Всё сделал кто-то. «Это всё придумал Черчилль в восемнадцатом году...» А когда оставшихся вменяемых врачей съедят (враги же!), тут обывателям и скажут: «Всё! Зло побеждено с вашей помощью! Остались лучшие из лучших! Но к ним – только за деньги, простите, ребята, мы тут на борьбу слишком потратились, так что теперь всё класс, но с некоторыми оговорками. Какими? Да такими, как в Китае. Помираете, бабушка? Ой, а некому. А кому есть – к тому без денег никак!» Как-то так. Я писатель, а не чиновник от здравоохранения. Знаю

только, что будет больно.

СМИ инициируют и поддерживают истерику, тема на волне – возвращаемся к пресловутому успеху, – телевидение развлекает, каждый делает свою работу. Очень пошло, очень приземлённо: некие аналитики – возможно, это такая гипотетическая ситуация, художественная, – некие аналитики канала ТНТ или какого-то другого канала, или продюсеры сериала сели и подумали: если «Доктор Хаус» или «Клиника» имели успех, то давайте снимем и у нас фильм. Что же касается литературы, то все пытаются понять: в чём секрет успеха? Ну вот в чём секрет успеха конкретной Татьяны Соломатиной? Нет никакого секрета успеха – есть успех. Думают: если она написала на медицинскую тему и это покупают – значит, в этом и есть секрет. Но никому не приходит в голову – может, книги неплохие? (*Смеётся.*)

Не знаю, что вам ответить. Не задумывалась. И не буду.

Инна Кац: Вы как-то писали, что в таких сериалах в медицинском антураже всё неправильно, что нужно брать грамотных консультантов...

Татьяна Соломатина: Нет, я этого не писала. Была такая забавная история, да. Меня попросили в PR-отделе родимого издательства «Эксмо» высказаться о сериале «Интерны». Я ещё не знала и не подозревала, чем это закончится. При том, что я очень уважаю Ивана Охлобыстина, я люблю его как человека пишущего, как человека талантливого, яркого, неоднозначного. Такого, в хорошем смысле слова, ско-

мореха. Я спросила: «Для чего?» Ответили: «Нам просто интересно». Ну, я, наивная чукотская девушка, привыкшая верить людям на слово – во всяком случае тем, с которыми работаю, – скачала из Интернета одну из серий и написала некое мнение. То есть мне не заказывали ни колонку, ни эссе, ни интервью – ничего. И вдруг я вижу, что в «Комсомольской правде» мои слова – мне не заказанные и не оплаченные, в конце концов – только с обрезанной головой и ногами. То есть, понимаете, ни головы у текста нет, ни ног. Соломатина написала, что Охлобыстин написал «фигню», снял «фигню», да всё не так, да всё не эдак. Некорректная ситуация. Я сначала очень переживала, а чем дальше и больше – поняла, что не способна этими ситуациями управлять. Что всё, что бы я ни сказала впредь, если популярность моя будет расти, будет превратно истолковано определённой категорией людей. И как бы я ни следила за словами, всегда есть что вырезать из контекста, вырвать фразу, извратить смысл, – и как-то расслабилась и поняла, что ну и хорошо. Не то у него украли, не то он украл... Интерес вызывает – и ладно. Мне приятно. Кто-то пойдёт и купит книгу, посмотрит, почитает и скажет: «Не такая уж она и сука, эта Соломатина, как показалось из жёлтой газеты «Комсомольская правда».

Я не говорила, что в «Интернах» антураж не тот. Я, одну конкретную серию увидев, сказала, что «как-то это странно, так не бывает». Ну, Соломатина сказала, и дальше понеслось. Обижаться в тряпочку тоже ведь не выход. Я почти ве-

рю в то, что в «Комсомольской правде», возможно, работают профессионалы, просто они убили мой текст, лишив его души. Ну, бывает. Отряхиваемся и идём дальше.

Недавно вот в одной московской газете написали, что я за последний год поправилась на двадцать килограммов, в Москве живу уже 30 лет, окончила Одесский медин. Очевидно, в девять лет я его окончила. Всё нормально, процесс идёт.

Инна Кац: Вундеркинд...

Татьяна Соломатина: Да (*смеётся*). Правда, в медицинский вундеркиндов не принимали. Чай, не физмат.

«Я пишу просто байки»

Инна Кац: Вы привезли в этом году на «Зелёную волну» новую книгу – «Акушер-ХА! Вторая (и последняя)». О чём она?

Татьяна Соломатина: О людях (*смеётся*). Мой любимый вопрос: о чём книга? Я сразу, такая девочка-отличница с очень строгой мамой, думаю: надо сесть и начать пересказывать, о чём эта книга. Это будет долго-долго, наступит рассвет, а я буду сидеть и пересказывать. У меня, к сожалению, ещё и очень неплохая память, то есть я буду рассказывать близко к тексту. Это как английский пересказ в школьные годы чудесные. Я всегда выучивала текст наизусть.

О чём книга? О людях, о больнице, о той же многопрофильной больнице. С миру по нитке – голому рубашка, поскольку работала далеко не в одной больнице. Но это не мемуары. Я тоже немного скоморох. В иных книгах бывает. Данные книги – «Акушер-ХА!», и первая, и вторая – просто байки. «Небывалые комбинации бывалых впечатлений» – физиолог Павлов сказал о снах. Это художественная литература, это не публицистика.

За несветлый образ несветлого ректора из моего романа «Кафедра А&Г» боролись несколько медицинских академий. Первой, естественно, была московская. Сказали: толь-

ко сняли ректора московской академии Пальцева – и у Соломатиной тут же выходит книга. Это соцзаказ! Как не стыдно, как так можно, каким бы он ни был. Это он – бывший профсоюзный лидер, это у него любовница точь-в-точь, какая общая судьба с соломатинским героем-антигероем! Потом говорят: да нет, это про одного украинского персонажа! Он тоже был профсоюзным лидером. Потом нашли самарского, ещё какого-то... Был, правда, глас разума среди критиков. Сказали: подождите. Давайте найдём хоть одного состоявшегося человека, ректора, достаточно взрослого, достаточно хорошей академии, который в своё время не был профсоюзным, или партийным, или другим лидером. Они ещё не умерли. Нет, отвечают, клиника есть только в Москве. Нет, знаете, университетская клиника есть и в Одессе, и в Израиле, наверное, есть (*смеётся*).

То есть писатель – он не фотограф. Он художник. Я выдумываю, это всё выдуманные персонажи. Но, видно, они выходят настолько живыми – и я рада этому, – что даже в притчах, в байках все пытаются разыскать прототипы. И даже получается.

Вот роман «Психоз» – он не так давно вышел. Гендерный роман, не скажу – женский (*смеётся*), потому что он не о женщинах, а о взаимоотношениях между полами, прости, Господи, за такие формулировки... Всё, приехали, Соломатина начала говорить штампами. Вот он вышел в продажу в конце мая. В середине июня меня завалило письмами. Чело-

век десять дам написали, что они точно знают, с кого я писала Сергея Валентиновича Боровикова. «Как вам не стыдно, вы хотя бы имя-отчество поменяли, а не только фамилию!» – писала одна. «Ага, – писала другая, – значит, вы спали с тем же человеком, с которым спала я». Это я спала? Я – Татьяна Соломатина, а не Александра Ларионова – героиня романа. Выдуманная Александра Ларионова спала с выдуманным Сергеем Боровиковым, а Соломатина теперь отвечай. Третья спрашивает: «А в какой супермаркет вы ходили, чтобы покупать эти сигареты?» Это Александра Ларионова ходила. Я вообще от компьютера не отхожу, я сижу себе в своей подмосковной деревне, никого не трогаю, просто сижу, выдумываю, потом персонажи идут в народ, и народ уже начинает искать прототипы. И находит. И на здоровье!

А с чего мы начинали? Ах, да! О чём моя книга «Акушер-ХА! Вторая (и последняя)». Книга о людях, об отношениях между людьми – в медицинском интерьере. Немного о беременных, для беременных и во имя беременных.

Каждую книгу, когда я её пишу, – я её люблю. Когда начинаю ненавидеть, когда тошнить начинает – пора отправлять в издательство. Пока идёт редакция, корректура, иллюстрация, обложка – я ещё терпимо к ней отношусь. Когда книга выходит, я её уже не люблю, как правило. Кофе бывает вкусным, но когда ты выпил подряд десять чашек, как-то тебя уже начинает подташнивать. Потом книга некоторое время лежит на полке, обычно я её читаю через неделю, через две.

«Психоз» я прочитала с удовольствием, «Большую собаку» – с удовольствием. «Акушер-ХА! Вторая» я не читала – ни байки, ни публицистическую часть. В этой книге больше всего я люблю рассказ «Сны Египетские». (Хотя издатель его называет повестью. Это, очевидно, так модно – повести называть романами, а рассказы – повестями. Говорят, рассказы не покупают, а повести покупают. Хотя я не понимаю – если маргарин назвать маслом, он им не станет. У маргарина своё предназначение, у масла – своё.) Я люблю этот рассказ и с удовольствием в этой книге прочитала только его. Причём у меня есть индикатор – мой свёкор, очень капризный человек, в смысле хорошего вкуса (*смеётся*), он сказал: «Ну, неплохо, неплохо». Это примерно как если бы поклонник залез на Эльбрус и прикрепил плакат с моим именем.

Один мой знакомый московский хирург сказал: «Ну, наконец у тебя не баба в антураже мужиков. А мужик в окружении баб». Я говорю: «Как же, а «Кафедра А&Г»?» Он: «А «Кафедра А&Г» – это книга об отношениях между людьми, коллегами. А «Сны Египетские», это – да...»

«Я беспощадна по-мужски»

Татьяна Соломатина: Недавно разочаровала одного таксиста. Уверяла его, что Фандорин – персонаж выдуманный. Я просто разрушитель легенд. Воинствующая эстетка (*смеётся*).

Инна Кац: И вы ещё говорите, что ваши героини и вы – это не один и тот же человек!

Татьяна Соломатина: С женской беспощадностью! На самом деле женская беспощадность – это ужасная вещь. Я беспощадна по-мужски – я всего лишь говорю правду. «Искусство – это ложь, что позволяет нам увидеть правду». Пикассо.

«Одесский роман»

Инна Кац: В «Большой собаке» вы как-то особенно красиво, ярко описали Одессу. Я не заметила, чтобы столь же ярко вы описывали другие места.

Татьяна Соломатина: Знаете, жители Казани мне ска-зали: такого описания Волги, как у вас в «Большой собаке», мы не читали. Мне уже говорили, что книга получилась чув-ственная. Но не в том смысле, что нынче вкладывают в это слово. Она тактильная, обонятельная, осязательная.

Так вот, про Одессу. Я действительно ещё тут. В этом го-роде большая часть моей жизни прошла. Я здесь родилась, выросла – между 16-й Фонтана и проспектом Мира угол Чка-лова.

Будет ещё «Коммуна, или Одесский роман», и на этом те-му Одессы я пока завершу.

Сегодня, когда приехали в Одессу, поселили меня в го-стинице «Лондонская», в номере, где жил Леонид Утёсов. Ну всё, думаю, приехали. Гомер, Мильтон и Паниковский. Но, знаете, у меня наступило такое чувство покоя. Я вышла на балкон третьего этажа, курю и понимаю, что сбылась меч-та идиота. Я, одесситка, – живу в «Лондонской». И в этом нет никакого дисбаланса, дискомфорта. Настолько всё гар-монично. В Киеве мне было намного тяжелее. Сейчас же я как будто приехала домой. Пока не могу формулировать, на-

верное, напишу в книге. И я говорю мужу: знаешь, для чего мы приехали сюда? Для того чтобы я узнала, вспомнила, ещё написала... Звёзды сошлись. В общем, мне всё время везёт, как видите.

Инна Кац: Часто приезжаете в Одессу?

Татьяна Соломатина: Раньше чаще, а в последний раз была года три назад. Вот, кстати, в Киеве я была на пресс-конференции, там сидят чиновники украинские, российские – открытие международной книжной выставки-ярмарки. Меня посадили в угол, чтобы, значит, «был писатель». Они говорили о том, что, вот, НДС, кто платит, нужно объединять... разъединять... И тут: а, Соломатина, здесь же писатель есть, говори! И я сказала о том, что мне непонятны сложные чиновничьи дела, для меня Украина и Россия – единое пространство, я не могу их разделить. Я росла между Одессой, Москвой и Казанью. Мои родители родились не в Одессе, они из России, мой бедный отец, которому 74 года, никак не понимает, почему, приезжая к дочери в Подмоскovie, он должен регистрироваться в управлении миграционной федеральной службы. Поэтому хочется, чтобы чиновники всё это решили, потому что я не ощущаю наши страны разными. Может, поэтому мне в Одессе проще, чем в Киеве. Одесса и Москва – города подобные. Мне так кажется.

Инна Кац: На взгляд человека приезжающего, Одесса очень меняется?

Татьяна Соломатина: Да. Я отслеживаю. Одесса меня-

ется. Я даже написала эссе для одного московского издания. Возможно, мне когда-то будет стыдно, сейчас – нет. Оно называлось «Куцый памятник из недоворованной меди» – о памятнике Дерибасу.

Одесса меняется, но я не страдаю. Москва тоже умирает и снова рождается. Города не умирают. Возможно, это мы стареем, и умирает наша жизнь с нашим старением. А города остаются, пока живы люди этих городов...

Вот такая беседа состоялась у меня с корреспондентом «Одесса-daily» Инной Кац. Возможно, это не самое лучшее моё интервью. И уж точно – не самое, мягко скажем, профессионально обработанное журналистом. Возможно, я устала после трассы Киев – Одесса, но какое это имеет значение, если это моё первое интервью Городу, в котором я родилась и выросла. Так что, несмотря ни на что, материал как есть – в этой книге.

Издатель хотел камбалу, муж хотел, чтобы я отдохнула, а менеджер звонила, звонила, звонила... Согласовывала, согласовывала, согласовывала...

Я присела в уголок, заказала ещё кофе и только расслабилась, как... Инна Кац вернулась. Да не одна. Она привела женщину с крепко примотанным к ней широкой тряпкой грудным ребёнком.

– Э-э-э!!! – изобразила я вежливость из своего измученного улыбками лица.

– Эта ваша давняя поклонница, журналист, хочет взять у вас интервью.

– Сейчас?! – я быстро затушила подкуренную только-только сигарету, кинув взгляд на плюс-минус трёхмесячного малыша.

– После «Зелёной волны»! – выкрикнула менеджер. – Сейчас у нас телевидение.

– Да-да... После «Зелёной...», договаривайтесь с менеджером! Я – с радостью... С радостью! С радостью! С радостью!

Менеджер пнула меня ногой под столом.

– Вы такая позитивная! – улыбнулась мне журналист-мадонна, обмотанная младенцем. – Я приду и на «Зелёную волну», и брать у вас интервью, и...

В общем, мы попрощались, рассыпаясь в любезностях, и я вернулась к своему остывшему кофе.

– Так! – некоторое время спустя сообщила менеджер, пообщавшись с обоими своими телефонами. – Телевидения не будет. В студии, где должны были снимать, провалился пол!

– О, как это прекрасно! – выкрикнула я. – Ну, не в том смысле, конечно. Просто день сегодня такой – искажённых смыслов. Что-то мне казалось, что в Одессе только «Зелёная

волна» и парочка интервью в вольном режиме, а тут... Никто же не пострадал, кроме пола? Я согласна и после полуночи записывать, если пол. Хотя я уже начинаю ненавидеть твои телефоны. Хотя однажды я любила один...

Зелёный Пыр-Пыр

У него был совершенно очаровательный тембр. Драматический тенор с порочной хрипотцой.

Он взирал на меня с недостижимой высоты. Я была слишком юна и ползала у его ног, с интересом поглядывая. Он отвечал мне взаимностью. Безо всяких этих глупых взрослых бесчувственных «ути-пути» и ненавистной, тошнотворной «козы рогатой», а как-то пристрастно-нежно и в то же время – отрешённо-отстранённо. У него были свои дела, но он был частью моего мира. У меня тоже были свои дела, но и я была частью его мира. Гораздо позже я узнала, что подобное принято называть красиво – взаимопроникновением.

Я ползала не совсем у его ног, потому что у него ног не было. Я ползала у ножек его столика. Но столик был – в моём сознании – интернированной сущностью этого загадочного существа. И поэтому как бы совсем-совсем им. Вот ваша нога, с точки зрения Аристотеля, – ваша интернированная сущность. И самостоятельной сущностью не станет, даже если её ампутировать. (Или, как принято говорить в Одессе, – «отнять».) Даже если нога очень и очень красивая. Вот и столик этот был очень и очень бесподобным. Я не скажу, каким точно. Не опишу. Просто нечто бледно-серо-бирюзовое там, высоко, с изогнутыми подножиями. Видимо, это бы-

ло чугунное литьё. Точнее сказать не могу. К тому моменту, как я смогла говорить точнее, столик уже выкинули. Очень печальная история... Я плакала, как безумная, но мне было стыдно сказать почему. Из-за вещей типа телефонного столика умные девочки не плачут. Из-за платья или из-за куклы – сколько угодно, и это всем понятно. Но рыдать взахлёб из-за телефонного столика? Нонсенс. Мои родители считали меня очень странной девочкой. Но они бы устали меня считать, если бы знали, что я рыдала из-за телефонного столика.

А тот, кто восседал на подиуме, – был не совсем зелёный, а скорее цвета морской волны. Но я тогда таких цветов не знала. И папа мой не знал. Потому что именно папа сказал мне, что объект моего пристального интереса – зелёный. О том, что он живой, – я догадалась сама. Когда он запел.

Папа подошёл, взял его за руку, приложил эту его единственную руку к своему уху и сказал:

– Аллэ! Слушаю...

Почему-то, когда папа сказал это «слушаю», Зелёный Пыр-Пыр перестал петь.

– Её нет, будет к восьми, звоните, – проговорил папа в его руку и положил её на место.

– Это – телефон! – папа поймал мой восхищённый взгляд, брошенный с пола на недостижимую для меня высоту. – Хо-

чешь послушать?

Он снова снял его руку и протянул её мне. Рука Зелёного Пыр-Пыра оказалась приделанной к витому колечками шнуру. Я схватилась цепкой ладошкой за «руку» и... оказалась лицом в паркете. Увы и ах, я умела только ползать, и мне требовались все четыре точки опоры, чтобы земля подо мною не переворачивалась. Я зарыдала. Не столько от боли, сколько от досады. Но руку Зелёного Пыр-Пыра из своей не выпустила. Мой незадачливый добрый папа очень долго уговаривал меня вернуть ему эту зелёную руку, называя её неправильно – «трубкой». Он приводил какие-то смешные аргументы, мол, ему сейчас должны звонить, а если не положить руку Зелёного Пыр-Пыра на место, то будет всё время занято. Конечно, занято! Его рука уже занята мной! Зелёный Пыр-Пыр – мой!

Через полчаса папа догадался сменить тактику и пообещал, что если я отпущу руку Зелёного Пыр-Пыра, тот для меня обязательно ещё раз споёт. Папа, правда, говорил, что Пыр-Пыр для меня «позвонит», и я ещё очень долго путала слова «петь» и «звонить».

Папа не обманул. Зелёный Пыр-Пыр запел спустя какой-то час. Или два. Всё это время я просидела на полу, не отпуская папу. Папа, кажется, был недоволен, но я всегда умела уговаривать мужчин. Громким криком или – если крик не действовал – слезами.

– Пыр-Пыр! – радостно расхохоталась я, когда он запел.

– Да-да, он зелёный, – согласился папа, хотя я вовсе не это имела в виду.

– Пыр-Пыр! – стукнула я пухлым кулачком по полу.

– Я с тобой совершенно согласен! – на всякий случай заверил папа. Он вообще был человек мягкий. Слишком мягкий. Это не всегда хорошо для мужчины, особенно – для отца и мужа, но тут уж ничего не поделаешь, отцов не выбирают. К тому же я своего любила как неотъемлемую часть окружающего меня мира. Моего мира.

Мама не одобрила моей безумной страсти к Зелёному Пыр-Пыру. Он стоял в коридоре – и там «дуло». Я не видела никакого дула, хотя из разговоров взрослых уже знала, что оно от ружья и круглое (хотя понятия не имела, что такое ружьё и почему оно круглое), но раз мама говорит, что в коридоре дуло, значит в коридоре – дуло! Мама моя – в отличие от папы – была женщиной суровой и властной, ну да бог знает, как парует. Маму я всё равно любила больше, чем папу, – так любят все годовалые дети, это уже потом они научаются врать взрослым, что всех любят одинаково. Мама умела петь песни так, как надо мне, а папа пел так, как привык и умел. Мама умела гладить мне спинку так, чтобы мне было хорошо, а папа просто гладил спинку, и спустя некоторое время его поглаживания начинали раздражать. Правда, я очень любила, когда папа заворачивал меня в стёганое

зелёное (на сей раз действительно зелёное) одеяло и носил по квартире. Мама не носила, потому что мама меня «раскормила». Так говорила бабушка. Но маме нравилось меня раскармливать. Я была канонически красивым пупсом, с чистой кожей, толстыми щеками и то хитрыми, то грустными глазами – прирождённый манипулятор. Все во дворе трепали меня по щекам. Когда я гуляла с папой. То есть – он со мной. Когда я гуляла с мамой – меня никто не дёргал за мои толстые персиковые щёки, и это была ещё одна из причин, по которой маму я любила сильнее папы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.